
ВЯЧЕСЛАВ ГУСЕВ
СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО

Вячеслав Гусев

Седьмое правило

«Автор»
2026

Гусев В.

Седьмое правило / В. Гусев — «Автор», 2026

В клубе «Активное долголетие» действуют шесть простых правил — и одно негласное, седьмое. Когда на юбилейной выставке умирает шантажист, именно это правило становится ключом к разгадке.

© Гусев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Король макраме 5
Глава 2. Катушка, которой не было 10
Глава 3. Правило нарушено 14
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Вячеслав Гусев
Седьмое правило

Глава 1. Король макраме

Сплетня похожа на моток мулине: пока смотан — ничего страшного, а распустишь — не соберёшь обратно. Так гласит народная мудрость клуба «Активное долголетие». Мудрость записана мною, Аглаей Петровной Табуреткиной, в тетради, которая хранится в буфете между рецептом солёных огурцов и кратким списком врагов. Тетрадь ни разу не открывалась, потому что и огурцы, и враги у нас консервированные.

В актовом зале Дома культуры пахло пылью с горячих батарей, вчерашним компотом и латунью. Дед Платон уже натирал свой самовар, и тот сиял так, будто собирался пережить всех нас, а по моим подсчётам это было почти наверняка. Солнце падало через два окна наискось и резало зал тёплыми полосами, в которых летела пыль: мелкая, медленная, как наши с Зоей Марковной планы на остаток жизни.

Я стояла у входа с микрофоном от караоке. Микрофон был мёртвый уже лет десять, но придавал мне солидности, а солидности в моём возрасте нужно вдвое, потому что своя вырабатывается со скрипом.

— Дорогие товарищи, — объявила я, — перед тем как открыть выставку народного творчества, напомню главное правило клуба. Зоя Марковна, какое у нас главное правило?

— Никаких сплетен, — отозвалась Зоя Марковна из третьего ряда с таким значением, будто правило выдумала она персонально для меня.

— Именно. Никаких сплетен. Мы клуб «Активное долголетие», а не отдел кадров на проводе.

— Слышу, слышу, — пропела Зоя Марковна.

И действительно, через полминуты услышала. Она наклонилась к Марь Иванны и зашептала так громко, что её было слышно в фойе: «А говорю тебе — у её дочки муж то ли уехал, то ли не уехал, но чемодан точно был».

Я подошла вплотную и произнесла вполголоса, но с прицелом:

— Зоя Марковна, вы нарушаете пункт седьмой.

— Какой ещё пункт седьмой?

— Тот, который про сплетни. Он седьмой, потому что первые шесть тоже кто-то нарушал.

Зоя Марковна надула щёки.

— Я не сплетничаю, я информирую. Это разные вещи.

— Чем же разные?

— У сплетни есть адресат. А я говорю просто в пространство.

— Пространство, между прочим, тоже жалуется.

Марь Иванна в это время раскладывала на столе призовые пинетки — с такой нежностью, будто это были не пинетки, а золотые рыбки, и каждой она обещала отдельную судьбу. Пинеток было одиннадцать пар, разного цвета и разной степени смелости: одни вязались на выход в свет, другие — на подвиг, но все они были связаны с любовью и чугунной выдержкой.

— Аглая Петровна, — сказала она мне, — голубые не ронять, пожалуйста. Они на третье место. И на второе тоже не ронять.

— Обещаю ронять только призовые места, но никак не пинетки.

У стены Геннадий Сергеевич разложил лоток с семечками. Табличка гласила: «Семечки для здоровья». Я посмотрела на неё, потом на Геннадия Сергеевича. Он посмотрел на табличку, потом на меня.

— Чего? — прогудел он. — Тыква полезна. И подсолнечник тоже.

— Подсолнечник полезен, пока его не жарят в масле, не солят и не заворачивают в стаканчик.

— Так я стаканчик целым оставляю. Пусть люди сами заворачивают, сколько хотят.

И тут двери распахнулись, и в зал въехал он. Въехал — слово точное. Аркадий Львович Балакирев вошёл так, будто зал открывали ради него, а Дом культуры построили на прошлой неделе специально под его визит. За ним вкатывали стол на колёсиках, а на столе стояла витрина с надписью «Кружево столетия». Макраме было много. Слишком много для одного человека и даже для двух.

— Здравствуйте, дорогие долголетцы! — Балакирев развёл руками, как дирижёр. — Простите, что без предупреждения. Сюрприз — тоже жанр.

Он пошёл вдоль стендов, останавливался, наклонялся, хвалил. Хвалил каждого — и это было хуже всего, потому что похвалы его звучали как приговоры с отсрочкой исполнения.

— Зоя Марковна! Какие цветы! Настолько живые, что я почти слышу, как они перешёптываются. Между собой. О вас, разумеется.

Зоя Марковна побледнела так, что стала похожа на собственные гипюровые салфетки.

— Платон Михалыч! Самовар — сердце народа! У меня дядюшка держал точно такой же и мыл его по четвергам. И по пятницам. И по субботам. Странный был человек — мыл.

Дед Платон глянул на Балакирева, потом на самовар. Самовар, мне показалось, тоже глянул на Балакирева, и в его медных боках отразилась чья-то длинная рука.

— Геннадий Сергеевич! Семечки для здоровья? Прекрасная коммерция. Мой дед торговал грибами. Тоже, между прочим, для здоровья. Правда, не всегда тем, кому продавал.

Геннадий Сергеевич молча придвинул стаканчик поближе и накрыл его газеткой.

А потом Балакирев дошёл до Марь Иванны. Наклонился к пинеткам очень низко, как будто рассматривал не вязку, а бирку.

— Какая работа! Честные стежки, чистое сердце. Вы вяжете лучше всех, Марь Иванна. И помните, я бы сказал, лучше всех то, что никак не должно было бы забываться.

Марь Иванна улыбнулась ему ровной вежливой улыбкой человека, который услышал комплимент и не услышал остального.

Я смотрела на Балакирева и думала про себя коротко и ясно: этот человек владеет чужими секретами, как кошка мышами. Сначала играет, потом роняет, потом смотрит, кто бросится подбирать.

Потом он подошёл ко мне. Поклонился — шутливо, вполпояса, но с прямой спиной, как кланяются люди, которым этот поклон однажды дорого обошёлся.

— Аглая Петровна. Голова клуба, совесть района и гроза сплетен. У меня к вам один вопрос. Маленький. Наедине.

— Вопросы у нас решает собрание.

— Этот вопрос собрание не переживёт.

— Тогда мне он тем более не нужен.

— Ой, как трогательно, — улыбнулся он. — Притворяться вы умеете. Но завтра, Аглая Петровна, мы всё-таки поговорим.

И он отошёл, оставив меня с ощущением, будто мне вручили повестку, не сообщив адресата. Стол с витриной уже поставили в центре зала. В центре, понимаете? Не сбоку, не у стены — по центру, как алтарь. Люди обходили его бережно, на полшага, и я впервые за восемь лет видела, чтобы наши бабушки двигались по залу, как по музею.

Спокойно, Аглая Петровна, сказала я себе. Человек хвастается верёвочками. Ну, красиво сплёл. Ну, знает про всех больше, чем следовало бы. Мало ли. Я тоже знаю, что Геннадий Сергеевич в семечках пересортицу делает, и никого не шантажирую. Хотя, если быть до конца честной, шантажирую. Но по-доброму и с рецептами.

Ко второму часу Балакирев у окна расставил две табуретки.

— Садитесь, Аглая Петровна. Как в театре: партер, первый ряд, виды на кулисы.

Я села. За окном шёл дождь средней тяжести и барабанил по жестяному козырьку, как посетители по закрытой двери поликлиники. Пахло мокрым асфальтом и чужим одеколоном — одеколон был от Балакирева, крутоватый и дорого-подозрительный, как и весь он.

— Слушаю вас.

— А я ещё не начинал, — сказал он и достал из кармана медальон. — Вот. Смотрите.

Медальон был старый, тёмный, с потёртой чеканкой. Внутри — прядь седых волос, аккуратно уложенных.

— Семейная реликвия?

— Семейная, — улыбнулся он. — Правда, у семьи на этот счёт своё мнение.

— Чья это прядь?

— Пока неизвестно. Но тот, кто это узнает, будет мне очень благодарен. Или очень не благодарен. Зависит от состава семьи.

Я посмотрела на медальон, потом на него. Перстень у него был с гербом. Не с монограммой и не с рогом изобилия, а с гербом, как у публичной библиотеки. Для пенсионера-рукодельника перстень подозрительно богатый.

— Аркадий Львович, зачем вы мне всё это?

— Затем, что вы здесь единственная взрослая. Остальные — товарищи по вязанию.

— И что же вы хотите сообщить?

— Ничего. Я хочу, чтобы вы догадались. Так честнее. У меня на каждого по катушке, Аглая Петровна. Хотите — розовую, хотите — серую.

— Это угроза или меню?

— Это инвентарь. Макраме без катушек не бывает. Как и правда без последствий.

Он закрыл медальон и положил его в карман — медленно, показательно, как кладут карты на стол вверх рубашкой.

— Лучше скажите про Марь Иванну, — не удержалась я. — Вы ей что-то пообещали из того, что не ваше.

— Я? Ничего. Она вяжет лучше всех. А помнит меньше всех. Правда, у неё есть сестра...

Он осёкся. Нет, не осёкся — ронял. Слово «сестра» он уронил так, как роняют ключ: и не поднимешь, и не оставишь.

— У неё есть сестра? — спросила я.

— У кого?

— У Марь Иванны.

— Ох, что-то я про вязание заговорился, — сказал Балакирев. — У меня в этом году план по мастер-классам. Пойдёмте, покажу людям, как делать квадратный узел. Руки работают — совесть отдыхает.

Он прошёл к стойке с мулине, где лежали мотки всех цветов, кроме скромных. Дед Платон, проходя мимо, посмотрел на его перстень и отвернулся. Не отвёл глаза — отвернулся, как отворачиваются от знакомого врага.

Балакирев напевал что-то из «Кармен» — фальшиво, но с такой уверенностью, что фальшь переложили на нас. Потом улыбнулся мне через весь зал, как улыбаются человеку, которому уже всё решили.

Завтра, значит, всё узнаю. Или не узнаю никогда. Знаете, что неприятно? Не то, что он знает что-то лишнее. А то, что я, человек, тридцать лет учивший детей не путать валентности, разом потеряла способность отличать угрозу от меню. И перстень этот гербовый дед Платон узнал. Я видела по спине: узнал и отвернулся. Значит, у Платона тоже есть катушка. Значит, у всех нас есть катушки. И все они где-то в его кармане рядом с медальоном и семейной прядью.

Я решила не думать об этом хотя бы до вечера. На вечер, впрочем, надежд не было: по понедельникам у нас прогон хора, а после нашего хора не думаешь вообще ни о чём. Но слово «сестра» сидело в памяти, как косточка в горле у соседского пса. Откуда я его знаю? Не знаю. А знаю.

К четырём часам зал наполнился народом, как самовар водой: и по краям, и через край. Балакирев проводил мастер-класс у стойки с мулине. Голос у него был поставленный, бархатный — голос человека, который много лет объяснял людям, что делать, и ни разу не спросил разрешения.

— Берём два конца, — говорил он. — Не дёргаем. С мулине, как с людьми: сначала уважение, потом узел.

Смеялись все, кроме меня. Мне от его мягкости было не по себе: мягкое чаще всего попадает в горло.

Марь Иванна стояла рядом со своей корзиной пинеток и улыбалась. Призы вручались после обеда, и она готовилась к вручению так, как иные готовятся к балу. Геннадий Сергеевич толкал стаканчик с семечками вдоль ряда, и по щелчкам скорлупы можно было следить за ходом торговли.

— Кружку ему! — крикнул кто-то с задних рядов. — Дай Аркадию Львовичу кружку!

Кружку принесла, конечно, Зоя Марковна. Трофейную, клубную, с надписью «Родничок». Кружка круглый год стояла на подоконнике и поила всех, кто жалуется на жизнь. На ней было выведено: «Победителю — от проигравших».

Балакирев взял кружку, отпил. Поднял моток мулине — зелёный, светлый, примерно как весна в рекламе йогурта. И хотел сказать про плоский узел, потому что плоский узел был его любимый. И не сказал.

Он остановился на полуслове. Бледнел медленно и честно, как погода в ноябре. Потом схватился за горло двумя пальцами, будто вытягивал из себя не то слово, не то кость. Кружка опрокинулась на стойку, чай растёкся по мулине, и зелёный моток вдруг потемнел, как чужая тайна.

— Аркадий Львович? — вежливо спросила Марь Иванна.

Он упал. Без объявлений, без предварительных поклонов — прямо между стойкой с мулине и стулом с табличкой «Здесь сидел Платон Михалыч».

Закричали все. Зоя Марковна закричала громче всех и с формулировкой:

— Это я его довела! Я своими разговорами!

— Зоя Марковна, — сказала я, опускаясь рядом на колени, — вы врёте. Вы до него не достанете.

Кто-то звонил в скорую, кто-то — в такси, чтобы всё-таки успеть на электричку. Дед Платон молча закрыл собой самовар: в его возрасте уже понимают, что сначала спасают ценное. Я положила два пальца Балакиреву на шею и ждала. Ждала дольше, чем положено, потому что человек, тридцать лет учивший химию, знает: пульс умеет притворяться.

Скорая приехала быстро. Полиция — тоже быстро, потому что кто-то из наших успел позвонить племяннику, а племянник звонил громко. Капитан Дубов оказался молодым, чисто выбритым и скептичным, как инженер, которому принесли в ремонт пылесос, а он в нём видит калькулятор.

— Итак, — сказал он, осматривая зал, — похоже на несчастный случай.

— С чего вы взяли?

— С того, что в зале бабочки, пинетки и семечки. Тут не стреляют, тут угощают.

— У нас и угощали. Угощение не помогло.

Дубов посмотрел на меня внимательно, как смотрят на копирку, из которой чего-то не хватает.

— А вы кто?

— Аглая Петровна Табуреткина. Химия, тридцать лет стажа. Причину смерти я вам не назову, это работа вашего эксперта. Но один предмет я назову: моток мулине, который он держал, исчез.

— То есть как исчез?

— Вот так. Катушка была в руке — катушки в руке нет. И на стойке нет, и на полу нет, и в кружке нет.

Дубов повернулся к стойке. Стойка была опрокинута, мулине рассыпано, чай расплёскан, а мотка, который держал Балакирев, не было. Вокруг лежали три мотка, семь, двенадцать. Того самого — ноль.

— Может, он уронил? — предположил Дубов.

— Он лежит лицом вверх, а пальцы у него согнуты, как будто он что-то сжимал. И на ладони остался зелёный ворс. Куда вы уроните моток, если пальцы не разжались?

Дубов сделал пометку в блокноте. Потом взял микрофон от караоке и объявил:

— Граждане, выставка закрыта, никого не выпускать. Но все свободны.

Мы к таким формулировкам привыкли. Мы пережили перестройку, две монетизации и отмену абонемента в бассейн. Но тут даже Зоя Марковна молчала, и в этой тишине было слышно, как дед Платон трёт самовар — теперь уже, кажется, не для блеска, а для себя.

Я поднялась с колен и увидела: в дальнем конце зала, мимо гардероба, человек в платке нёс корзину Марь Иванны. Ту самую, с пинетками. Нёс спокойно, по-хозяйски, как несут свою корзину на рынок.

— Эй! — крикнула я.

Платок не обернулся. Я бросилась следом — не бегом, потому что колено у меня допускает только один вид срочности, и это всё-таки не бег. Коридор тянулся, платок уходил, пинетки качались в корзине, как пассажиры на качелях. Свет мигал через раз, будто тоже сомневался, стоит ли всё это видеть.

В конце коридора никого не было. Платок — как сквозь стену. Оставался только запах: мыло и овёс, как из деревенского мыловарения. Дверь на улицу была приоткрыта, и в неё задувал мелкий холодный дождь.

Я вернулась в зал. Марь Иванна искала корзину глазами и не находила. Я встала рядом и произнесла так спокойно, как умела:

— Марь Иванна. Ваши пинетки унесли.

— Ну и пускай, — ответила она тихо. — Я ещё навяжу.

Вот это было самое страшное из всего, что случилось за день. Не смерть. Не полиция. А то, что она навяжет. Я стояла посреди зала, вокруг собирали мулине, и мне стало ясно, как никогда: это не несчастный случай. У несчастного случая нет почерка. А у этого был.

Глава 2. Катушка, которой не было

Старость — это когда враги узнают тебя по корзине. Народная примета, заведённая в нашем клубе с первой же выставки. Примета, к сожалению, оказалась пророческой, а пророчества, как известно, сбываются не у пророков, а у их соседок.

Утром в Доме культуры пахло валерьянкой и мокрыми калошами. Дежурный снаружи на входе держал табуретку и должен был никого не пускать, но табуретка пропускала всех, потому что дежурным был дед Платон, а у Платона с табуреткой были особые отношения.

— Аглая Петровна, — сказал он. — Тебя капитан ждёт. Капитан нервный. Не жалей его.

В зале у стойки с мулине стоял Дубов и держал пинцетом знакомую зелёную катушку. Мокрые следы чая на мулине высохли и стали коричневыми, как чужой секрет.

— Нашлась, — сказал Дубов. — В корзине Марь Иванны. Между пинетками.

— Между какими?

— Между третьей парой голубых и четвёртой розовых. Если вам важна хронология.

Марь Иванна сидела на стуле у окна и вязала. Руки у неё ходили ровно, а лицо было белое, как простыня после генеральной стирки. Увидев меня, она сняла очки.

— Аглая Петровна, я клянусь вам этой вязкой, я не брала. Я чужое не брала никогда. Даже в школе тетрадки соседям одалживала с процентами обратно.

— Верю. Проценты — это вообще улика вашего характера.

Дубов крутил катушку в свете окна.

— Аглая Петровна, яды в мулине — это для кино. В реальной жизни нить нитке рознь.

— А вы в химии разбираетесь?

— В людях.

— Это хуже, — отозвалась я. — В химии есть таблица, а в людях только слухи. Никотиновый концентрат на волокне действует через кожу. Человек держит моток в руке, потеет, ворсинки цепляются за ладонь. Через несколько минут начинается то, что вы вчера видели. Строго говоря, ладонь у него была не ладонь, а лаборатория.

Дубов выслушал меня так, как выслушивают капризную тёщу: вежливо, кивая и заранее не соглашаясь.

— Запишу. Кожное впитывание. У нас это называется версия, а у вас теория.

— У нас это называется тридцать лет педагогического стажа.

— У вас всё называется тридцать лет стажа.

— Потому что других доводов у пенсионера нет. Одни годы и одни претензии.

Зоя Марковна возникла рядом уже во всю действующую.

— Я всегда говорила, — объявила она залу. — Пинетки — орудие убийства. Мягкое, тёплое, а под них чего только не подсунешь. Я в каждом доме пинетки вижу — и каждую ночь сплю плохо.

— Зоя Марковна, — сказала я, — вы вчера кричали, что это вы его довели. Теперь кричите, что это Марь Иванна. Определитесь, вы убийца или прокурор.

— Я скорее прокурор. Мне тяжело быть виноватой, у меня совесть с шумоизоляцией.

Тут в зал вошла Лидия. Дочь Балакирева шла за вещами отца, и шла она красиво: голова слегка набок, платок во всю ширину, глаза блестят ровно на ту границу, за которой уже стыдно. Плач у неё был поставленный. Крик — тем более.

— Папа! — произнесла она на весь зал, и слово упало, как гиря в мешок с мукой.

Потом она подошла к столу, взяла со стойки пустую кружку «Родничок», посмотрела на неё и заплакала тише. За кружку я, может быть, и поверила ей, если честно. Но за остальное — нет.

Вскрытие ещё вчера не делали, зато сегодня утром из города пришла бумажка: отравление подтверждено, путь попадания не установлен. Не установлен — это канцелярит, а в переводе на наш: не нашли.

— Значит так, — сказал Дубов. — Работает версия: он принёс отраву с собой. Хотел сам. Моток — совпадение.

— Совпадение? У него в руках был моток, моток исчез, моток нашёлся в чужой корзине. Совпадением называется бракованная молния и попутный дождь. Это называется след.

— След — это то, что я записал. А записал я: причина смерти установлена, источник не установлен. Неустановленный источник у нас не источник. Приходите, когда будете источником.

— То есть?

— То есть Марь Иванну я отпускаю. Корзину оставляю. Вещдок.

Корзину унесли в комнату охраны, а Марь Иванна посмотрела ей вслед так, как смотрят, когда увозят не корзину, а младшего. И я в этот момент подумала вот что: если бы я отравила человека, я бы не сушила катушку между пинетками, которые собиралась получить за третье место. Даже я, у которой с криминалом дружба не сложилась, сообразила бы, что улику не хранят в призовом фонде. Значит, катушку подбросили. Значит, у кого-то были руки, время и простая мысль, что на бабушку, которая забывает, легче всего свалить.

Спокойно, Аглая Петровна. Сначала узнай, где этот кто-то живёт. А живёт он, подозреваю, там же, где и работал: в мастерской с витриной «Кружево столетия». В его косах ответов нет. В его столах — будут.

— Зоя Марковна, — сказала я громко, — вы мне сегодня не нужны.

— Это я тебя приглашаю или ты меня?

— Я приглашаю. На экскурсию.

— Отказываюсь. То есть согласна. То есть во сколько выходим?

К четырём вечера дождь кончился, и на лужах лежало небо, как на витрине. Лидия открыла дверь сама, в том же платке, что и утром, только узел был затянут уже серьёзно, как на похоронах, а не как на выставке.

— Мама, — сказала Зоя Марковна, глядя на Лидию. — Один в одного. Сестру твою, Аглая Петровна, я в молодости видела. Так же платок завязывала.

— Зоя Марковна, помолчите.

— Молчу. Но знайте.

— Чем могу? — спросила Лидия.

— Мы хотим вернуть отцу забытую вышивку, — сказала я. — Вчера, при всех, он оставил образец на столе. Мы не хотели, чтобы пропал.

— Вышивку? — переспросила Лидия.

— Вышивку. Крестиком.

— Отец не вышивал крестиком. Отец терпеть не мог крестики.

— Все мы чем-нибудь не выносим крестиков. Но вышивка не стала от этого меньше.

Пока мы торговались, Зоя Марковна шмыгнула мимо Лидии в коридор, как мышь мимо кота, который почему-то не видит мышей. Так и надо, Зоя Марковна. Главное — тихо и постариковски.

Мастерская Балакирева оказалась музеем шнурков. Макраме висело на стенах, на потолке, в шкафу, за шкафом и, кажется, под шкафом. Пахло воском, кожей и чужим одеколоном, который держался здесь даже тогда, когда хозяина уже не было. В углу горела лампа с абажуром из верёвки, и тени ложились на пол узлами.

Я держала в голове одну простую мысль: человек, который шантажирует полгорода, ведёт учёт. А учёт — это либо тетрадь, либо голова. Голову его уже не спросишь.

Зоя Марковна открыла комод. В комоде лежали катушки, мелки, ножницы с голубками на ручках. И блокнот в обложке из клеёнки.

— Аглая Петровна, — прошептала она. — Тут такое.

Блокнот был толстый, с пружиной. Внутри — не имена. Клички и суммы.

Пинетки — сорок тысяч. Семечки — сто пятьдесят. Резчик — двести. Болтунья — а дальше ничего. Страница вырвана аккуратно, по корешку, как вырывают не в злости, а по делу.

— Пинетки — это Марь Иванна, — сказала Зоя Марковна. — Семечки — это Геннадий. Болтунья — это я. Резчик — это Платон Михалыч, он у него у самого доски пил.

— Вы сами себе кличку знаете?

— Я догадливая. И если я Болтунья, а страница про меня вырвана, то выходит, что я...

— Не выходит. Пока выходит только то, что у вас зеленеют уши. Отдайте блокнот.

— Отдайте?! Я его нашла первая!

— И поэтому он мой, — отрезала я, вырывая его у неё из рук. — У вас таланты к находкам заканчиваются на чужом комоде.

В этот момент в дверях выросла Лидия. Она смотрела на нас так, как смотрят не на гостей, а на одну категорию людей, которых в её возрасте ещё не встречала.

— Вы крадёте вещи моего отца!

— Мы их спасаем. Спасать и красть — разные глаголы, хотя даже я в вашем возрасте путала.

— Я заявлю в полицию!

— Заявляйте. Заодно спросите у нотариуса, зачем ваш отец писал завещание каждый вторник. По вторникам, Лидия. Не по праздникам и не в столетие семьи.

Лидия побледнела ровно так, как бледнеют люди, только что узнавшие, что их семья — это не семья, а бухгалтерия. Она прижалась к косяку, платок соскользнул на плечо, и мне стало её на секунду по-настоящему жаль. Секунда прошла. Я положила блокнот в сумку, и мы с Зоей Марковной вышли.

На улице пахло мокрой берёзой. Зоя шла рядом и молчала до самого угла, а молчание у неё было дороже любого разговора.

— Аглая Петровна, а если ты есть в этом блокноте?

— Не есть. Я никому не говорила.

— А если всё-таки говорила?

— Зоя Марковна, у меня из-за вас уже в одном месте болит. Не добавляйте в другое.

Уже во дворе я обернулась. В окне мастерской стояла фигура Лидии и смотрела нам вслед. Или не Лидии. Или не в окно. За такой наблюдательной работой у нас в клубе платят премию из кассы взаимопомощи, и премия — пирог с картошкой.

Дома я заварила крепкий чай, включила старенький радиоприёмник на среднюю волну, где дядя Коля пел про дальнюю дорогу, и мечтала об одном: чтобы сегодняшний день оказался кошмаром и к утру рассосался, как рассасываются неоплаченные квитанции, если не открывать почтовый ящик.

Я открыла сумку. Блокнота не было.

Сначала я решила, что у меня маразм. Потом решила, что это не маразм, а просто старость, отчего стало хуже. Я вывернула сумку, вывернула карманы пальто, заглянула в тумбочку, в холодильник, в кладовку и даже в коробку с огородными семенами, где у меня хранится всё важное, включая паспорт и паяльник.

Блокнота нигде не было. А был он у меня, я его видела в сумке уже во дворе, на углу, когда отмахивалась от Зои Марковны с её вопросом про меня саму.

Полиция? Сказать Дубову? Представьте разговор: у меня украли блокнот, в котором покойный шантажист вёл учёт, а я его, понимаете ли, взяла в чужом доме без спроса. Нет уж. Я сама. В конце концов, в моём возрасте совсем стыдно воровать и не суметь спрятать.

Звонок в дверь. Один, короткий. Я подошла на цыпочках, глянула в глазок — коридор. Пустой коридор, только лампочка горит и на коврике что-то лежит белое.

На коврике был конверт. Без марки, без адреса, просто «Мадам Табуреткина». Внутри — два листка. Первый был короткий и грамотный по оформлению: «Не лезь, ТЕБЯ КАСАЕТСЯ». Слова «ТЕБЯ КАСАЕТСЯ» были написаны заглавными, и это уже говорило не о воспитании автора, а о его диагнозе.

Второй листок был страницей из блокнота. Вырванной по корешку, той самой — про Болтунью, которую я уже не успела увидеть, потому что её вырвали раньше меня. И на этой странице почерком Балакирева было выведено:

«Мадам Табуреткина. До пятницы — двести тысяч. Или весь город узнает про вашего мужа».

Я села. Не села, а опустилась на табуретку, как мешок с мукой, и сидела ровно столько, сколько нужно, чтобы в доме стало слышно, как за окном капает с козырька.

Мой покойный муж Леонид Петрович был инкассатором. Двадцать лет честной службы, две грамоты и один случай, о котором мы не говорили даже в страшном сне. Когда-то он терял деньги. Не пропивал, не проигрывал — терял. Сумку из машины, липовый груз, тридцать лет назад. Мы тогда расплатились всем, что было, и молчали так плотно, что молчание стало у нас четвёртым членом семьи. О том случае я рассказала одному человеку за всю жизнь. Одному.

Я перечитала страницу три раза. На третий раз заметила дату. До пятницы. То есть срок ещё живой. То есть шантаж продолжается. То есть покойник мне не пишет — пишет кто-то, кто подхватил его блокнот, как эстафету на школьном кроссе, и бежит с ней, не ведая усталости и правил.

Что ты знаешь про свою жизнь, Аглая Петровна? Ты учила детей не путать валентности, а сама перепутала адресатов. Ты считала, что тайна умерла вместе с человеком, который её держал. А тайна, как и клуб, живёт дольше своих основателей.

Я не скажу никому. Ни Зое Марковне, ни Дубову. Ни до пятницы, ни после. Сначала я пойму, кто пишет. У меня три дня, блокнот без одной страницы и чувство, что за мной следят с самого утра. В доме тихо, чай остыл, улица чёрная и мокрая. Я спрятала конверт в кладовку под ключ от старого серванта и шепнула в темноту: «Балакирев, вы хотя бы честно мучили». А это уже, скажу я вам, важное отличие. Впрочем, как сказал бы дед Платон, от честного врага хватит и половины. А я, кажется, получила целую.

Ночь я провела, глядя в потолок и вспоминая всех, кого знал Леонид. Список оказался короче, чем я думала, и длиннее, чем мне хотелось.

Глава 3. Правило нарушено

Хорошее правило — как забор: стоит ровно, пока его не пробуешь перепрыгнуть. Я попробовала. Сначала перелезла, потом увидела, что по ту сторону всё то же самое, и сделала вид, что так и было задумано.

Утром в среду в моё окно постучали. Не в дверь — в стекло, снизу, костяшками, как стучат те, кому семидесяти ещё нет, но уже пора. Я отодвинула шторку. Во дворе стояла Зоя Марковна с тарелкой пирожков и с лицом человека, который уже простил себя и теперь ждал, прощу ли я.

— Заходи через дверь, — сказала я в стекло. — Окно у меня не приёмная.

— Через дверь я вхожу к тем, кто не обиделся. А ты обиделась.

— Я не обиделась. Я взвесила — и обиделась.

Через десять минут квартира пахла пирожками с капустой, крепким чаем и вчерашней тревогой, которая за ночь, вопреки моим надеждам, не выветрилась, а осела, как пыль на телевизоре. Зоя Марковна села за стол, вытерла тарелку, которую не пачкала, потом стол, который не резался, потом взялась за табуретку, на которой сидела. Тут я поняла: пирожки — прикрытие.

— За вчерашнее, — сказала она. — За то, что кричала «это я его довела».

— Кричала ты громко. Нечестно громко. Доводят обычно по-тихому.

— Я вообще громкая. Меня за это в клуб и взяли.

— Тебя за это в клуб и записали в правило. Пункт седьмой, абзац про тебя.

Она улыбнулась — коротко, одним углом рта, и тут же увидела. Я с утра перечитывала вчерашние листки, конверт лежал на столе, и угол его торчал из-под салфетки, как стыд из-под приличия. Зоя Марковна посмотрела на угол, потом на меня, потом снова на угол.

— Откуда у тебя это? — спросила она тихо.

— Оттуда.

— Так не бывает.

— Так и живём.

Она потянулась к конверту — я даже руки не успела поднять. Зоя вытащила страницу, глянула на почерк и побелела. Не побледнела — побелела, как свежая извёстка на стене. Рука с листком задрожала, и по столу пополз тихий шорох бумаги, похожий на шелест таракана по старым обоям.

— Это почерк Балакирева, — прошептала она. — И это моя страница.

— Твоя?

— Моя. Которую я вчера не успела вырвать. Которую он вырвал раньше.

Я сидела и смотрела на Зою Марковну, главную сплетницу клуба, грозу пункта седьмого, женщину, которая умела узнать чужую тайну по походке, — и она сидела передо мной белая, как первый снег по весне.

— Он вёл на всех папки, — зашептала она. — Понимаешь? Папки. На каждого члена клуба. Копии писем, расписки, справки, позор. Архив смерти. Он так и называл, жуткий человек: «архив смерти». Я однажды спросила, где он это держит. Он сказал: на вокзале. В камере хранения. Ячейка у него была, он её годами не забирал. Сказал: с бумагами, как с солёными грибами, — чем дольше стоят, тем весомее.

— Ты платила.

— Я платила. Он грозил вынести сор. Сор, Аглая Петровна, был такой, что даже я его прятала. И я платила. Мы все платили.

— Все?

— Все, кто с ним списывался. Кто стеснялся. У кого сучок в дереве. Ты не поймёшь, у тебя дерево прямое.

Я убрала страницу подальше и спросила прямо, глядя ей в глаза:

— А про моего мужа он знал?

Зоя Марковна молчала. Она смотрела на чайник, на окно, на мои руки. Молчание у неё получилось длинное и гулкое, как хлопок двери в пустом подъезде. Я ждала. Пять секунд. Десять.

— Так я и знала, — сказала я.

— Я не говорила ничего плохого.

— Молчание тоже плохое. Молчание — вообще самая громкая из твоих сплетен.

Она поднялась, размяла юбку на коленях, потом заново села, потом опять поднялась — как будто мебель вызывала у неё особые чувства.

— Я тебе покажу, — сказала она наконец. — Ячейку. Покажу. Но не здесь.

— Почему не здесь?

— Здесь стены. Не деревянные, но и не глухие. Пойдём на вокзал. Только по-тихому, по-дружески, как будто за билетами.

Я смотрела на неё и думала: она боится не Балакирева. Балакирев лежит в морге, а мертвецы, как известно, на чай не заходят. Она боится того, кто теперь держит его папки. Того, кто уже бывал у моего дома ночью и знает, где у меня живёт страх. Страх у меня живёт в кладовке, рядом с ключом от серванта, но об этом я не сказала даже Зое.

— Собрание будет, — сказала я. — Экстренное. И не смотри на меня так: это не сплетни. Это совещание.

К обеду мы собрались в том же зале, где два дня назад лежал Балакирев. Пол там теперь блестел особенно — как будто наводили на него лоск не тряпкой, а памятью. Пахло хлоркой и мокрой тряпкой, солнце лежало на полу ленивыми полосами, и где-то за стеной капал кран — ровно, с чувством, как метроном у хора.

Я встала у того же мёртвого микрофона. Он, правда, придавал солидности.

— Дорогие товарищи, — сказала я. — В связи с трагедией объявляю: правило «никаких сплетен» временно приостановлено. На один день. Расскажите мне всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.